

ОППОЗИЦИИ СОВРЕМЕННОЙ СОЦИОЛОГИИ

ОТ РЕДАКЦИИ: Представляемая публикация - запись текстов интервью, данных Пьером Бурдьё французскому журналу "Politis". Частично эти материалы были напечатаны в "Politis" в марте 1992 г.

— Какова Ваша точка зрения на гегемонию американской социологии в поле социологии, — не в смысле ее качества, а скорее, в смысле ее распространенности (лингвистической, в публикациях), с ее готовыми к употреблению эмпирическими моделями и прагматизмом?

— Я не уверен в том, что сегодня можно говорить об американской гегемонии в области социологии. Прежде всего потому, что три столпа, на которых покоится ортодоксия 60-х — Парсонс, Мертон, Лазарсфельд — по разным причинам были сильно поколеблены, кроме того, потому что кризис этой господствующей и по сути ложной парадигмы (которая часто, хотя и ошибочно, описывается как кризис социологии) освободил научное воображение и эпистемологическую рефлексию. Это повлекло за собой во всем мире, а особенно в Соединенных Штатах, целый ряд очень разнообразных и, вместе с тем, очень похожих исследований, поскольку все они характеризовались более или менее радикальным разрывом с наивно позитивистской верой в численные данные или в то, что Ницше называл «догмой о непорочном зачатии».

— Готовы ли Вы защищать полицентризм в определении, практике и социологической эпистемологии от унифицирующего господства американской социологии?

— Во время выступления на симпозиуме в Чикаго (1989) я защищал идею, что унификация социологии, наблюдавшаяся вплоть до 80-х годов и базировавшаяся на навязывании политической ортодоксии, переодетой в одежды методологической достоверности, была ложной. Я выступал за то, что ее нужно заменить исследованием целостности, базирующейся на конфронтации различных национальных традиций и разных теоретических и эмпирических концепций. В силу весьма специфических исторических причин (например, существование сильной эпистемологической традиции и историографии науки, или же живой традиции политической критики и интеллектуального диссидентства) французская социология (или по крайней мере некоторые ее представители) оказывается предрасположенной к тому, чтобы начать «подрывные действия» и провести ревизию общепринятой критики. Но такое движение нашло отклик и в Штатах, и мне часто кажется, что исследователи с обоих берегов Атлантики примерно в одно и то же время осуществили одинаковые операции. Я думаю, например, о постановке под вопрос имевшего место шаблонного использования статистики, которое наблюдалось почти одновременно и в сходных терминах со стороны некоторых дотошных этнометодологов, сделавших объектом анализа инструменты конструирования своего объекта, и со стороны французских социологов, которые в продолжение работ Башляра и Кангилема стремились порвать с допущениями, присущими первичному опыту социального. Потому мы не можем более говорить сегодня об «американской социологии» как о некоем неделимом блоке. Некоторые наиболее влиятельные американские социологи (например, Ди Мэджио, Коллинс, Кэрэбел и многие другие) черпают источник вдохновения в европейских работах.

— Для одних Вы представляете и защищаете социологию, питаемую совершенно особым культурным и социальным полем, артикуляция которого вне французского

контекста может привести к ошибочным концепциям. Для других Вы тот, кто аутентичным образом воплощает эту концепцию, которая революционизировала социологию. вложив в нее новый дух и смысл существования, придав ему новое содержание. Какова Ваша оценка?

— Я не могу провести резких границ между точками зрения, которые как таковые, несомненно, содержат в себе часть правды. Что безусловно: я вижу все больше исследований и в Соединенных Штатах, и в других странах в области социологии образования и культуры, вкуса и культурного потребления, подтверждающих гипотезы, выдвинутые мною в отношении Франции, которые вначале они отвергали и приписывали исключительно особенностям французской ситуации или странностям моей теории или моей методологии.

— *Чувствуете ли Вы себя все еще действительно одиноким в интеллектуальном поле Франции? Во многих опубликованных работах можно обнаружить критическое отношение и даже отрицание между Вами и многими французскими социологами (Турен, Будон...). В 1987 г. Вы на такой вопрос отвечали утвердительно.*

— Я чувствовал бы себя в изоляции, если бы меня ограничивали рамки национального поля, в которое я оказываюсь включенным по игре случая, в силу моего здесь рождения. Действие непосредственной конкуренции за национальный рынок и, особенно, за внеученные успехи (о которых я давно уже научился не думать) сказывается таким образом, что наиболее интересные, как мне видится, мои собеседники и критики находятся не во Франции...

— *В современной социологии сосуществуют многие «школы» со своими парадигмами и различными методами, приверженцы которых порой весьма остро полемизируют друг с другом. В своих работах Вы стремитесь преодолеть эти противостояния. Можно ли сказать, что цель Ваших исследований заключается в развитии синтеза, ведущего к становлению новой социологии?*

— Социология сегодня полна ложных оппозиций, которые моя работа часто побуждает меня преодолевать, хотя я и не ставлю своей целью преодоление. Эти оппозиции являются реальными делениями социологического поля; они имеют под собой социальный фундамент, однако не имеют никакого научного фундамента. Возьмем наиболее очевидные образчики, как, например, оппозицию между теоретиками и эмпириками, или же между субъективистами и объективистами, или между структурализмом и некоторыми формами феноменологии. Все эти оппозиции (а есть еще много других) кажутся мне совершенно фиктивными и в то же время опасными, поскольку приводят к увечьям. Наиболее типичный пример — оппозиция между подходом, который можно назвать структуралистским, имеющим целью зафиксировать отношения объективные, независимые от сознания и воли индивидов, как говорил Маркс, и подходом феноменологическим, интеракционистским или этнометодологическим, имеющим целью зафиксировать опыт, который агенты реально вершат в социальных контактах, и вклад, который они вносят в мыслительные конструкции и в практику социальных реалий. Большинство этих оппозиций частично обязаны своим существованием усилиям, направленным на установление в теории положений, связанных с обладанием различными формами культурного капитала.

Социология в ее теперешнем состоянии — это наука с очень широкими амбициями, и легитимные способы заниматься ею чрезвычайно разнообразны. Можно заставить сосуществовать под именем социолога и людей, занимающихся статистическим анализом, и других, разрабатывающих математические модели, и третьих, описывающих конкретные ситуации, и т.д. Все эти виды компетенции редко соединяются в одном человеке, и одна из причин деления, которое стремятся установить в теоретических оппозициях, это факт, что социологи претендуют навязать как единственный легитимный способ заниматься социологией тот, который наиболее доступен для них самих. Почти неизбежно «частичные», они пытаются навязать частичную дефиницию своей науки: я имею в виду тех цензоров, которые применяют репрессивные и кастрирующие меры, ссылаясь на эмпирию (тогда как сами даже не ведут эмпирических

исследований), и под видом придания большей ценности скромной осторожности в противовес удали теоретиков и с ожесточением, поддерживающим позитивистскую методологию, требуют от эпистемологии доказательств, чтобы сказать, что не нужно заниматься тем, чего они сами делать не умеют, и чтобы навязать другим собственные пределы. Иными словами, я думаю, что значительная часть работ, называемых «теоретическими» или «методологическими», являются лишь идеологией, подтверждающей частичную форму научной компетенции. И анализ поля социологии, несомненно, показал бы, что имеется сильная корреляция типов капитала, которым располагают различные исследователи, и разновидностей социологии, которую они защищают как единственно легитимную.

— *Именно в этом смысле Вы говорите, что социология социологии есть одно из первейших условий социологии?*

— Да, но социология социологии имеет также другие достоинства. Например, простой принцип, согласно которому каждый занимающий какую-то позицию заинтересован в том, чтобы увидеть пределы возможностей занимающих другие позиции, что позволяет извлечь выгоду от критики, объектом которой те становятся. Если бы взять, например, отношения между Вебером и Марксом, которых всегда изучают пошлярски, можно посмотреть на них иначе и спросить себя, в чем и почему один мыслитель позволяет видеть правду другого и наоборот. Оппозиция между ними, ритуально возобновляющаяся в учебных курсах и диссертациях, скрывает, что единство социологии заключается, может быть, в том пространстве возможных позиций, антагонизм которых, воспринимаемый как таковой, предлагает возможность собственного преодоления. Очевидно, например, что Вебер увидел то, что не видел Маркс, но очевидно еще и то, что Вебер смог увидеть невиденное Марксом потому, что Маркс видел то, что он видел. Одна из значительных трудностей социологии в том, что очень часто нужно включать в науку то, против чего первоначально выстраивали научную истину. Взамен иллюзии государства-арбитра Маркс создал понятие государства как инструмента господства. Но, вопреки разочарованию, которое производит марксистская критика, нужно спросить себя вместе с Вебером, как государству, будучи тем, что оно есть, удастся внушить признание своего господства, и не нужно ли включить в эту модель то, против чего она сконструирована, то есть стихийное представление о государстве как о чем-то легитимном.

Можно осуществить такую же интеграцию авторов, кажущихся антагонистами, по поводу религии. Я сказал бы — но не из любви к парадоксам — что Вебер реализовал марксистскую в лучшем смысле этого слова интенцию в той области, где ее не осуществил Маркс. Думаю, в частности, что Маркс был далеко не силен в социологии религии. Вебер создал настоящую политическую экономию религии; точнее, он отдал всю мощь материалистическому анализу религиозного факта, не разрушая собственно символического характера феномена. Когда Вебер устанавливает, например, что Церковь определяется с помощью монополии на легитимную манипуляцию средствами спасения, то, вместо того чтобы производить одно из тех чисто метафорических превращений экономического языка, которым часто пользовались во Франции в последние годы, он получает исключительно познавательный результат. Можно делать такого рода упражнения как по поводу прошлого, так и по поводу ныне существующих оппозиций. Как я только что сказал, каждому социологу было бы интересно выслушать своих противников в той же мере, в какой те заинтересованы в том, чтобы увидеть то, что он не видит — пределы его видения, которые, по определению, он не ухватывает.

— *На протяжении многих лет «кризис социологии» был излюбленной темой среди социологов. Еще недавно указывали на «взрыв социологических кругов». В какой степени этот «кризис» был научным?*

— Мне кажется, что современная ситуация, которая часто описывается как ситуация кризиса, вполне благоприятна для научного прогресса. Я считаю, что социальные науки своей озабоченностью о респектабельности, о том, чтобы предстать перед

другими и собой наукой «не хуже других», разработали ложную парадигму. Иначе говоря, своего рода стратегический альянс между Колумбией и Гарвардом, треугольник Парсонс—Мертон—Лазарсфельд, на котором покоилась на протяжении многих лет иллюзия об объединенной социальной науке, своего рода интеллектуальный холдинг, который проводил почти сознательную стратегию идеологического господства, в конце концов рухнул, и я считаю, что это значительный прогресс. Чтобы в этом удостовериться, достаточно было бы посмотреть, кто кричит о кризисе. По моему мнению, это те, кто имел дивиденды от такой монополистической структуры. Значит, во всех полях — и в социологическом поле как в любом другом — существует борьба за монополию легитимности. Такая книга, как, например, Томаса Куна о научных революциях произвела эффект эпистемологического переворота (каковым она, на мой взгляд, совершенно не является) в глазах части американских социологов, поскольку послужила инструментом борьбы против этой ложной парадигмы, которую определенное число людей, поставленных в интеллектуально господствующую позицию в силу экономического и политического господства их страны и их позиции в университетском поле, смогли заставить признать достаточно широко во всем мире.

С одной стороны, имелась эклектическая теория, базирующаяся на избирательной реинтерпретации европейского наследия и предназначенная сделать так, чтобы история социальных наук начиналась в Соединенных Штатах. Некоторым образом Парсонс был для европейской социологической традиции тем, кем Цицерон для греческой философии: он брал оригинальных авторов, переводил их на немного аморфный язык, производя синкретическое сообщение, академическую комбинацию из Вебера, Дюркгейма и Парето, но, конечно, без Маркса. С другой стороны, существовал венский эмпиризм Лазарсфельда, разновидность неопозитивизма, при ближайшем рассмотрении относительно тупиковая в теоретическом плане. В отношении же Мертона можно сказать, что из них троих он один дает некую школярскую разработку, небольшой синтез, простой и ясный, с его теориями среднего уровня. Это настоящее разделение компетенции в юридическом смысле. И все это образовывало социально очень мощный ансамбль, который смог заставить поверить в существование некоей парадигмы так же, как в естественных науках. Здесь вмешивается то, что я называю «эффект Гершенкрона»: Гершенкрон объясняет, что капитализм никогда не принимал в России такой формы, в какой он существовал в других странах, по той простой причине, что начался там с некоторым запозданием. Социальные науки обязаны значительным числом своих характеристик и трудностей тому факту, что они также начали свой путь гораздо позже других, так что, например, они могут использовать сознательно или бессознательно модель более продвинутых наук, чтобы имитировать свою научность.

В 1950—1960 гг. имитировали единство науки, будто бы наука существует лишь тогда, когда есть единство. Социологию упрекают в том, что она разбросана, конфликтна. И социологам настолько внушили идею, что они не ученые, раз они находятся в конфликте, в борьбе мнений, что у них появилась ностальгия по объединению — настоящему или фиктивному. В действительности ложная парадигма восточного побережья Соединенных Штатов была какой-то ортодоксией... Она имитировала *communis doctorum opinio*, которое было свойственно не науке, особенно на ее начальных этапах, но средневековой Церкви и юридическим установлениям. Во многих случаях социологический язык 50—60-х годов изловчался на невероятный трюк говорить о социальном мире, как бы не говоря о нем. Это был язык сопротивления, в смысле Фрейда, отвечающий фундаментальному запросу тех, кто господствовал в области речей о социальном мире, запросу, заключавшемся в потребности отстранить, нейтрализовать. Достаточно почитать американские журналы 50-х годов: половина статей посвящена анонимии, эмпирическим или псевдотеоретическим вариациям на фундаментальные концепты Дюркгейма и т.д. Это было каким-то пустым и школярским обстругиванием социального мира, с очень небольшим эмпирическим материалом. В частности, меня поразило у самых разных авторов использование концептов ни абстрактных, ни конкретных, которые нельзя понять, не имея представления о конкретной

отсылке, которую держит в голове тот, кто их использует. Они думали *jet sociologist*¹, а говорили «профессор-универсалист». Ирреальность высказываний достигала вершины. По счастью, имелись исключения, как, например, Чикагская школа, которая говорила о трущобах, об уличных компаниях, описывала банды или среду гомосексуалистов, короче, разные типы среды и реальных людей... Но в маленьком треугольнике Парсонс — Лазарфельд — Мертон ничего не было видно.

Таким образом, для меня «кризис», о котором сегодня говорят, это кризис ортодоксии, а быстрое размножение ереси, по моему мнению, есть прогресс в сторону научности. И не случайно: освободилось теоретическое воображение, снова открылись все возможности, которые предоставляет социология. Теперь мы опять имеем дело с полем, в котором есть борьба, имеющая некоторые шансы перерасти в научную борьбу, то есть в регулируемые конфронтации, такие, победить в которых может лишь ученый: больше невозможно будет побеждать, лишь неясно рассуждая по поводу ожиданий и достижений, об аномии, или представляя теоретически и, следовательно, эмпирически плохо сконструированные статистические таблицы про «отчуждение» рабочих [...].

— *В социологии имеется тенденция к очень сильной специализации, иногда даже чрезмерной. Не является ли это тоже эффектом Гершенкрона, о котором Вы только что говорили?*

— Совершенно верно. Хотят имитировать продвинутые науки, в которых имеются очень точные и очень маленькие объекты исследований. Именно эта неумеренная специализация поощряется позитивистской моделью с помощью своего рода подозрительности в отношении любой общей амбиции, воспринимаемой как остатки глобалистской амбиции философии. В действительности мы все еще находимся в фазе, когда абсурдно отделять, например, социологию образования от социологии культуры. Как можно заниматься социологией литературы или социологией науки без отсылки к социологии системы образования? Например, когда занимаются социальной историей интеллектуалов, почти всегда забывают принимать в расчет структурную эволюцию системы образования, которая может привести к эффекту «перепроизводства» дипломированных специалистов, непосредственно влияющих на интеллектуальное поле, как на уровне производства — с появлением, например, «богеми», социально и интеллектуально разрушительной, — так и на уровне потребления: качественное и количественное изменение читательской публики. Очевидно, специализация также отвечает чьим-то интересам. Это хорошо известная вещь: например, в статье об эволюции права в средневековой Италии Гершенкрон показывает, что как только юристы завоевали автономию по отношению к правителям, каждый начал разделять специализацию таким образом, чтобы быть, скорее, первым в своей деревне, чем вторым в Риме. Эти два соединенных эффекта привели к тому, что юристы специализировались сверх всякой меры и утратили интерес к любому относительно общему исследованию, забывая, что в естественных науках вплоть до Лейбница и даже до Паункаре, великие ученые были одновременно философами, математиками и физиками.

— *Существуют мыслители, социологи, с которыми Вы разделяете в большей или меньшей степени многие положения или, по крайней мере, к которым Вы чувствуете некую близость (Миллс, Гидденс и др.), но в Ваших трудах нет ни цитат, ни ссылок на них. Почему?*

— Что касается Ч.Р. Миллса, то я на него ссылаюсь, и как мне кажется, столько, сколько это требуется, и на те работы, которые мне действительно близки и симпатичны. А в отношении Э. Гидденса и его теории структуризации Вам следовало бы обратить внимание на даты выхода в свет моих публикаций на французском языке, в которых представлены исследования, близкие его работам (особенно, «Набросок теории практики», 1972), чтобы понять, что в то время я не мог ссылаться на его еще не написанные труды.

¹ Элитарный социолог (англ.).

— Как и многие социологи, Вы не слишком благоволите философам. Тем не менее Вы часто ссылаетесь на таких философов как Кассирер или Башляр, которых социологи вообще-то игнорируют.

— Действительно, мне случается задеть философов, поскольку я многого жду от философии. Социальные науки — это одновременно и новые способы мышления, иногда непосредственно конкурирующие с философией (я имею в виду всю науку о Государстве, о политике и т.п.), и объекты мышления, в которых философия могла бы найти почву для размышления. Одной из функций философов науки могло бы стать обеспечение социологов инструментами для защиты от навязывания позитивистской эпистемологии, являющейся одним из аспектов эффекта Гершенкрона. Например, когда Кассирер описывает генезис способа мышления и понятий, которые вводятся в оборот современной математикой или физикой, он совершенно отрицает позитивистское воззрение, показывая, что наиболее продвинутые науки сумели сформироваться—и совсем недавно — только благодаря предпочтительному изучению связей, а не субстанции (как силы в классической физике). Он показывает тем самым, что под именем научной методологии нам предлагают не что иное, как идеологическое представление легитимного способа заниматься наукой, которое в научной практике не соотносится ни с чем реальным.

Другой пример. Случается, особенно в англосаксонской традиции, что исследователя упрекают в использовании понятий, которые функционируют как «дорожные указатели» (signposts), указывающие на феномены, заслуживающие внимания, но остающиеся порой неясными и нечеткими, даже если они заставляют задуматься и рождают ассоциации. Я считаю, что некоторые из моих понятий (я думаю, например, о «признании» и «непризнании») входят в эту категорию. В свою защиту я мог бы упомянуть всех тех «мыслителей» — столь ясных, столь прозрачных, столь убедительных, которые говорили о символизме, коммуникации, культуре, отношениях между культурой и идеологией, а также всех тех, кто затемнял, занимался оккультизмом, нагнетал эту «туманную ясность». Но я мог бы еще, и главным образом, апеллировать к тем, кто, как Витгенштейн, объявлял эвристической добродетелью открытые понятия, и кто вскрывал «эффект замкнутости» слишком хорошо сконструированных понятий, «предварительных определений» и прочих ложных строгостей позитивистской методологии. В очередной раз действительно строгая эпистемология могла бы освободить исследователей от принуждения, оказываемого на исследование методологической традицией, к которой часто взывают наиболее посредственные исследователи, дабы «подпилить когти львьятам», как говорил Платон, то есть обстругать и обесценить творения и новации научного воображения. Подозреваю, что некоторые сконструированные мною понятия могут производить туманное впечатление, если рассматривать их как продукт концептуальной работы, а не позволять «крутиться вхолостую»: каждое из этих понятий (я думаю, например, о понятии поля) есть некоторым образом программа поисков и принцип избегания целой совокупности ошибок. Понятия могут — и, в некоторой степени, должны — оставаться открытыми, временными, что не означает быть неопределенными, приблизительными или путанными. Всякая настоящая рефлексия над научной практикой свидетельствует, что такая открытость понятий, которая придает им характер, «заставляющий думать», и следовательно, их способность производить научный результат (показывая незамеченное, вдохновляя на проведение исследований, а не только на комментарии) есть свойство всякого научного мышления, находящегося в процессе своего становления, в противоположность науке уже сформировавшейся, над которой размышляют методологи и все те, кто после драки придумывает правила и методы, скорее, вредные, чем полезные. Участие исследователя может заключаться в целом ряде случаев в том, чтобы привлечь внимание к проблемам, к чему-то, что не замечалось, поскольку было слишком очевидным, слишком ясным, потому что, как говорят французы, «это бросалось в глаза». Например, понятия «признание» и «непризнание» были введены вначале, чтобы дать

имя чему-то такому, что отсутствовало в теориях власти, или было обозначено только в самом грубом виде («власть приходит снизу» и т.п.). Они в действительности указывают направление исследований. Так, например, я рассматриваю мою работу о форме, которую принимает власть в университетах, как вклад в анализ объективных и субъективных механизмов, с чьей помощью осуществляются действия символического принуждения, признания и непризнания. Одно из моих намерений — искоренить школярское различие между конфликтом и консенсусом, которое препятствует осмыслению любой реальной ситуации, когда добровольное подчинение происходит в конфликте и через конфликт. Ведь мне хорошо известно, что все доминируемые, включая школьную систему, находятся в оппозиции и сопротивляются. Но в определенный исторический период борьбе доминируемых придали такую экзальтированность (до такой степени, что выражение «вести борьбу» начинало функционировать как некоторого рода гомеровский эпитет, который позволительно присовокупить ко всему, что находится в движении: к женщинам, студентам, доминируемым, трудящимся и т.д.), что в конечном итоге забылось нечто, хорошо известное очевидцам, то есть то, что доминируемые являются доминируемыми и в их собственном мозгу. Вот о чем я хочу напомнить, обращаясь к таким понятиям, как «признание» и «непризнание».

— *Вы настаиваете на факте, что социальная реальность — это насквозь история. Как Вы соотносите свою работу с историческими исследованиями и почему Вы так мало используете долговременные перспективы?*

— При современном состоянии социальной науки история является, как я думаю, одной из привилегированных областей социальной философии. В среде социологов это часто санкционирует общие суждения о бюрократизации, процессах рационализации, модернизации и т.п., которые приносят много социальных выгод их авторам, но мало научной пользы. В действительности, чтобы заниматься социологией, как я ее понимаю, нужно отказаться от этих выгод. Истории, нужной мне для работы, очень часто не существует. Например, сейчас передо мной стоит проблема воображения современных художников и интеллектуалов. Каким образом художник и интеллектуал автономизируются шаг за шагом и завоевывают свою свободу? Чтобы строго ответить на этот вопрос, нужно провести крайне сложную работу. Историческое рассмотрение, которое должно было бы позволить понять генезис структур в том виде, в каком их можно наблюдать в данный момент времени в том или другом поле, осуществить чрезвычайно сложно, поскольку мы не можем довольствоваться ни туманным обобщением, основанным на некоторых документах, выдернутых случайным образом, ни терпеливым переписыванием документов или статистики, в которых часто упускается главное.

Следовательно, в полной мере совершенная социология должна, очевидно, охватывать историю структур, являющихся на данный момент завершением каждого исторического процесса. Здесь существует опасность натурализовать структуры и дать, допустим, порядок распределения благ или услуг среди агентов (я думаю, например, о занятиях спортом, но то же самое подошло бы и к предпочтениям в области кино) для непосредственного и, если можно так сказать, «натурального» выражения диспозиций, связанных с различными позициями в социальном пространстве (как раз это делают те, кто хочет установить необходимую связь между «классом» и стилем в живописи или спорте). Нужно создавать структурную историю, которая находит в каждом состоянии структуры одновременно и продукт предшествующей борьбы за трансформацию или сохранение структуры, и, через противоречия, напряжения, отношения силы, которые ее конституируют, принцип последующих трансформаций. Это в какой-то мере то, что я делал, чтобы понять изменения, произошедшие в последние несколько лет в системе образования. Я отсылаю вас к главе в «Различении», названной «Классификация, деклассификация, новая классификация», в которой проанализированы социальные последствия изменения отношений между полем образования и социальным полем.

Образование — это поле, которое как никакое другое ориентировано на собственное воспроизводство, исходя из того, что помимо прочего, агенты имеют необходимую

компетенцию для такого воспроизводства. Помимо этого, поле образования подчиняется внешним силам. Среди факторов, наиболее сильно влияющих на трансформацию поля образования (и в более общем виде — на все поля производства культуры), имеются те, которые последователи Дюркгейма называли морфологическими эффектами: например, наплыв более многочисленной клиентуры (и к тому же более обедненной в культурном отношении) вызывает всякого рода изменения на всех уровнях. Но в реальности, чтобы понять результаты морфологических изменений, следует учитывать всю логику поля, внутреннюю борьбу в этом корпусе, борьбу между факультетами — конфликт способностей по Канту, борьбу внутри каждого факультета, между степенями, различными уровнями профессорско-преподавательской иерархии, а также борьбу между дисциплинами. Все эти виды борьбы приобретают значительно большую трансформирующую действенность, когда встречаются с внешними процессами: например, во Франции, как и во многих странах, социальные науки, социология, семиология, лингвистика и т.п. которые несут в себе форму ниспровержения старой традиции «классического гуманизма», истории литературы, филологии или даже философии, нашли подкрепление в огромном числе студентов, ориентированных на эти науки. Такой наплыв студентов вызывает рост числа ассистентов, преподавателей, доцентов и т.д. и, тем самым, рост конфликтов внутри корпуса, выражением которых отчасти были протесты Мая 68 года.

Можно видеть, как перманентные основы изменения — внутренняя борьба — становятся действенными, когда запросы снизу (со стороны приходского духовенства, преподавателей-ассистентов, направленные всегда на требование права универсальной духовной власти) встречаются с внешними запросами (со стороны мирян, студентов), часто вызываемыми, как в случае системы образования, избытком ее продукции, «перепроизводством» дипломированных специалистов. Короче говоря, не нужно приписывать некую механическую эффективность морфологическим факторам: помимо того, что эти факторы получают свою специфическую эффективность от самой структуры поля, в котором они действуют, увеличение численности само по себе связано с глубокими изменениями восприятия агентами, в зависимости от их диспозиций, различных продуктов, предоставляемых образовательными институциями (учреждения, специальности, дипломы и т.д.), и в то же время, спроса на образование и т.п. Возьмем такой крайний пример: все побуждает считать, что рабочие, которые во Франции практически не пользовались возможностями среднего образования, начиная с 60-х годов стали его пользователями; сначала, без сомнения, по причинам юридическим, обязательного обучения до 16-ти лет и т.п., а потом для сохранения своей не самой низкой позиции, избежания падения до субпролетариев. Короче, изменения в поле образования определяются через взаимосвязь структуры поля образования и внешних изменений, которые детерминировали решающие изменения в отношении семьи к школе.

Таким образом, один из совершенно новых феноменов — это факт, что социальные категории, которые, как в случае крестьян, ремесленников или мелких коммерсантов, очень мало использовали образовательные институции для своего воспроизводства, начали использовать их из-за необходимости реконверсии, на которую их вынуждают экономические изменения; иначе говоря, когда они должны предусмотреть выход из условий, в которых полностью располагали своим социальным воспроизводством, путем непосредственной передачи наследия. Теперь, например, в техническом образовании имеется очень большая доля сыновей коммерсантов и ремесленников, ищущих в образовательных институциях базу для реконверсии. Этот род интенсификации использования Школы социальными категориями, которые раньше ее мало использовали, ставит проблемы перед социальными категориями, которые и раньше были его большими пользователями, и которые, чтобы сохранить дистанцию, должны интенсифицировать свои инвестиции в образование. Следовательно будет осуществлена контратака посредством интенсификации спроса во всех социальных категориях, связывающих со Школой свое социальное воспроизводство; беспокойство по поводу сис-

темы образования будет нарастать (есть тысячи признаков, и среди них наиболее значимым является новая форма использования частного образования). Существует цепная реакция изменений, некоего рода диалектика аукционной надбавки в использовании Школы. Все взаимосвязано... И в этом сложность анализа. Перед теми, кто в предыдущем поколении имел монополию на наиболее высокий уровень образования, на высшее образование, элитные вузы (Grandes Ecoles) и т.д., такой вид генерализованной интенсификации в использовании образовательных институций ставит очень трудные проблемы, толкая на изобретение всякого рода стратегий; как следствие, эти противоречия являются исключительным фактором инновационных процессов. Способ образовательного воспроизводства — это способ статистического воспроизводства. Воспроизводится как раз относительно постоянная часть класса (в логическом смысле этого слова). Но предопределенность судьбы индивидов: кто будет падать, а кто сохранится, более не зависит только от семьи. Однако семья интересуется лишь конкретными индивидами. Если сказать какой-нибудь семье: «90% из всех людей спасутся, но ваших среди них не будет» — это ей абсолютно не понравится. Следовательно, существует противоречие между специфическими интересами семьи как корпуса и «Коллективными интересами класса» (это все в кавычках, чтобы быть более кратким). Как следствие собственные интересы семьи, интересы родителей, не желающих видеть падение своих детей ниже собственного уровня, интересы детей, не желающих быть деклассированными, которые будут переживать провал с большим или меньшим смирением или с протестом в зависимости от происхождения, приведут к чрезвычайно разным и сверхъестественно изобретательным стратегиям, целью которых является поддержание позиции. Именно это показывает проведенный мной анализ майского движения: наибольший взрыв в мае 68 года наблюдался там, где разлаженность между статусными ожиданиями, связанными с высоким социальным происхождением и успехами в учебе была максимальной. Например, так случилось в социологии, которая была одной из вершин протеста (простейшим объяснением было бы сказать, что социология как наука содержит подрывные идеи). Но такое расхождение между ожиданиями и достижениями, являющееся подрывным фактором, есть неотъемлемо инновационный фактор. Не случайно большинство лидеров мая 68 года были большими новаторами в интеллектуальной и в прочих сферах жизни. Социальные структуры — это не нечто механическое. Например, люди, не имеющие необходимого звания для получения поста, который им как бы статусно предназначен, — те, кого называют «неудачниками», — будут стараться изменить пост таким образом, чтобы стереть разницу между ожидаемым и занимаемым постом. Все феномены «перепроизводства дипломированных специалистов» и «обесценивания званий» (следует осторожнее упоминать эти выражения) являются главнейшими факторами инновации, поскольку противоречия, в которые выливаются эти феномены, порождают изменение. Затем, движения протеста привилегированных обладают необыкновенной двойственностью: эти люди страшно противоречивы и даже в своем подрыве институции стремятся сохранить выгоды, связанные с предыдущим состоянием институции.

Вы видите, что я был многословен и ответил с помощью конкретного анализа «теоретического» вопроса. Это не совсем то, чего хотелось, но я взялся за это. По двум причинам. Я смог таким образом показать, что моя концепция истории, и, особенно, истории образовательной институции, не имеет ничего общего с изуродованным, абсурдным, «лозунговым» образом, который мне порой приписывают, исходя, как я предполагаю, из одного лишь знакомства со словами «воспроизводство»: я же, напротив, считаю, что специфические противоречия способа воспроизводства в образовательной составляющей являются наиболее важными факторами изменения современных обществ. Во вторую очередь я хотел дать конкретные соображения по поводу того, о чем знает любой хороший историк: альтернативы научного рассуждения, структура и история, воспроизводство и консервация, или, в другом плане, структурные условия и единичные мотивы агентов, препятствуют построению реальности во всей ее сложности. Мне кажется, в частности, что предлагаемая мною модель

связи между габитусом и полем представляет единственно строгий способ вновь ввести в анализ единичных агентов и их единичные поступки, не впадая в анекдотическую ситуацию событийной истории без начала и конца.

— *В отношениях между социальными науками экономика занимает центральную позицию. Какие аспекты наиболее важны, по Вашему мнению, в отношениях между социологией и экономикой?*

— Да, экономика является для социологии одним из важнейших ориентиров. Прежде всего посылке экономика уже значительно присутствует в социологии благодаря работам Вебера, который осуществил перевод многих мыслительных схем, взятых из экономики, в область религии, в частности. Но не у всех социологов имеются бдительность и теоретическая компетенция, как у Вебера, и экономика — один из посредников, с чьей помощью осуществляется эффект Гершенкрона, первой жертвой которого, кстати говоря, сама она и является, в особенности из-за использования, часто абсолютно неосмысленного, математических моделей. Для того чтобы математика могла служить инструментом обобщения, позволяющего путем формализации освободиться от частных случаев, нужно начинать с конструирования объекта в соответствии со специфической логикой искомого универсума. Это предполагает разрыв с дедуктивистской мыслью, свирепствующей сегодня в социальных науках. Оппозиция между парадигмой Rational Action Theory (RAT), как говорят ее защитники, и той, которую предлагаю я, с теорией габитуса, заставляет вспомнить об установленной Кассирером в «Философии просвещения» оппозиции между картезианской традицией, заключающейся в рациональном методе как процессе, ведущем от принципов к фактам через доказательство и строгую дедукцию, и ньютоновской традицией *Regulae philosophandi*, предписывающей отставить чистую дедукцию в пользу анализа, который отталкивается от феноменов, чтобы подняться до принципов и до математической формулы, способной представить полное описание фактов.

Все экономисты и сам Беккер отвергли бы, конечно, замысел построить экономическую теорию *a priori*. Тем не менее, эпидемия того, что философы Кембриджской школы называли *morbus mathematicus*, производит опустошение, выходя далеко за пределы экономики. И возникло желание призвать против этого англосаксонского дедуктивизма, который может идти рука об руку с позитивизмом, «строго исторический метод», как говорил Локк в «*Essay on Human Understanding*», которого англосаксонский эмпиризм противопоставил Декарту. Дедуктивисты, к коим можно еще отнести лингвистов, приверженцев Хомского, часто производят впечатление игры с формальными моделями, заимствованными из теории игр, например, или из физики, не особо заботясь о реальности практики или о реальных принципах их производства. Случается даже, что, играя в математическую компетенцию, так же, как другие играют в художественную или литературную культуру, они производят впечатление безнадежно ищущих конкретный объект, к которому можно применить ту или иную формальную модель. Конечно, и модели симуляции могут иметь эвристическую функцию, позволяя вообразить возможные способы функционирования. Но те, кто их конструировал, часто поддаются догматической попытке, которую Кант разоблачал уже у математиков и которая направлена на переход от модели реальности к реальности модели. Забывая об абстракциях, которыми они должны были оперировать, чтобы произвести свой теоретический артефакт, они выдают этот артефакт за адекватное и полное объяснение; или же заявляют о том, что действие построения модели имеет как принцип эту модель. В более общем виде, они хотят повсеместно внедрить антропологию, неотступно следующую в имплицитном виде за всякой экономической мыслью.

Вот почему я считаю, что овладеть рядом научных достижений экономики можно, лишь подвергая их полному пересмотру (как я это сделал с понятиями «спрос» и «предложение») и порывая с субъективистской и интеллектуалистской философией экономического действия, которая в этом солидарна и является настоящим источником социального успеха Rational Action Theory или ее французской версии — «методологического индивидуализма». Таково положение дел, например, с понятием «ин-

терес», которое я ввел в свою работу чтобы, помимо всего остального, порвать с нарциссическим воззрением. Согласно ему только некоторые виды деятельности: художественная, литературная, религиозная, философская и т.п. — короче, все практики, для которых и которыми живут интеллектуалы (следует добавить виды общественной деятельности, в политике или где-либо еще), ускользают от всякой корыстной детерминации. В отличие от интереса у экономистов — природного, внеисторичного, родового, интерес для меня — это инвестиция в игру, какую бы то ни было, который является условием вхождения в эту игру и одновременно создается и усиливается посредством игры. Следовательно, существует столько же форм интереса, сколько и полей. Это объясняет, что инвестиции, сделанные некоторыми в некоторые игры, например, в поле искусства, выглядят как бескорыстные, когда их воспринимает некто, чьи инвестиции, интересы вложены в другую игру, например, в экономическом поле (экономические интересы могут выглядеть как бескорыстные для тех, кто сделал свои инвестиции в поле искусства). Нужно каждый раз определять эмпирически социальные условия производства этого интереса, его специфическое содержание и т.д.

— *В некоторые периоды, примерно в 1968 г., Вас обвиняли в том, что Вы не марксист. Сегодня Вас обвиняют, и достаточно часто те же самые люди, что Вы все еще марксист или слишком привержены марксизму. Можете ли Вы уточнить или определить Ваши отношения к марксистской традиции, к трудам Маркса, в частности в том, что касается проблемы социальных классов?*

— Я часто напоминаю, в частности, по поводу моего отношения к Максу Веберу, что можно, думая вместе с мыслителем, думать вопреки ему. Например, я сформулировал понятие поля одновременно вопреки Веберу и с Вебером, размышляя о предложенном им анализе отношений между священником, пророком и колдуном. Сказать, что можно думать одновременно вместе и вопреки мыслителю, значит радикально противоречить логике классификации, в которой существует обычай — увы, почти повсюду, но особенно во Франции — осмысливать отношение к идеям прошлого. «За» Маркса, как говорил Альтюссер, или «против» Маркса. Я считаю, что можно думать с Марксом вопреки Марксу или с Дюркгеймом вопреки Дюркгейму и еще, конечно же, с Марксом и Дюркгеймом вопреки Веберу, и наоборот. Именно так движется наука. А Маркс в достаточной мере притязал на звание ученого, чтобы единственной воздаваемой ему почестью было то, что другими используется сделанное им и сделанное на основе того, что он сделал, с целью превзойти то, что он считал им созданным.

Тот особый случай, который представляет собой проблема социальных классов, считающаяся уже решенной, очевидно, чрезвычайно важен. Конечно, если мы говорим о классе, то это в основном благодаря Марксу. И можно было бы даже сказать, если в реальности и есть что-то вроде классов, то во многом благодаря Марксу, или более точно, благодаря теоретическому эффекту, произведенному трудами Маркса. Вместе с тем, я не сказал бы, что теория классов Маркса меня удовлетворяет. Иначе моя работа не имела бы никакого смысла. Если бы я пересказывал диамат или развивал бы какую-нибудь форму этого фундаментального марксизма, произведшего фурор во Франции и в мире (Е.П. Томпсон говорил о French flu) в 70-е годы, в период, когда меня обвиняли, скорее, в том, что я веберянец или дюркгеймианец, то, вероятно, я имел бы больше успеха в университетах, поскольку комментировать проще, но думаю, что, по крайней мере в моих собственных глазах, моя работа не стоила бы потраченного времени. Что же касается классов, то я хотел порвать с реалистическим видением, которое люди обычно имеют в этой связи, что ведет к вопросам типа: являются ли интеллигенты буржуа или мелкими буржуа? То есть к вопросам об ограничениях, границах, к вопросам, которые обычно решаются юридическими актами. Впрочем, были ситуации, когда марксистская теория классов послужила юридическим решениям, становившимся иногда приговорами: в зависимости от того, был ли некто кулаком или нет, можно было расстаться с жизнью или спастись. И думаю, что, если теоретическая проблема поставлена в этих терминах, то она остается связанной с бессознательным намерением классифицировать, каталогизировать, со всеми выте-

кающими последствиями. Я хотел порвать с реалистическим представлением о классе как о четко очерченной группе, существующей в реальности как компактная хорошо выделенная реальность, когда известно, что существуют два класса или более, или даже сколько имеется мелких буржуа. Ведь еще совсем недавно во имя марксизма подсчитывали мелких французских буржуа, почти что не округляя!.. Моя работа заключалась в том, чтобы сказать: люди размещены в социальном пространстве, они не помещаются где попало, то есть не являются взаимозаменяемыми, как утверждают те, кто отрицает существование «социальных классов», и в зависимости от позиции, которую они занимают в этом очень сложном пространстве, можно понять логику их практики и определить, помимо многого другого, как они стремятся классифицировать других и самих себя и, по возможности, считать себя членами какого-либо «класса».

— *Одним из эффектов упадка «позитивистской» социологии было то, что некоторые социологи постарались отойти от сформировавшейся технической терминологии, вводя «легкий» и «читабельный» стиль; и не столько для того чтобы облегчить распространение [идеи], но чтобы противостоять наукообразным иллюзиям. Вы не разделяете эту точку зрения. Почему?*

— Верно, что я не пытаюсь сделать речь простой и ясной. Я считаю опасной стратегией, которая состоит в том, чтобы отказаться от строгости специальной терминологии в пользу читабельного и легкого стиля. Прежде всего потому, что эта ложная ясность является часто фактом господствующей речи, то есть речи тех, кто считает все само собой разумеющимся, поскольку и так все хорошо. Консервативная речь всегда держится за то, что идет от здравого смысла. И не случайно буржуазный театр XIX века назывался «театром здравого смысла». А здравый смысл говорит простым и ясным языком очевидного. Далее потому, что производить упрощенный и упрощающий дискурс о социальном мире значит неизбежно давать оружие для опасных манипуляций с этим миром. У меня есть убеждение в том, что одновременно и по научным, и по политическим причинам нужно принять, что дискурс может и должен быть настолько сложным, насколько того требует рассматриваемая проблема (сама являющаяся более или менее сложной). Если люди усвоят по меньшей мере, что «это сложно», то это уже будет обучением. Кроме того, я не верю в добродетель «здравого смысла» и «ясности» — этих двух идеалов классического литературного канона («что хорошо понято, то...» и т.п.). Когда говорят о вещах столь перегруженных страстями, эмоциями, интересами, как социальные предметы, то выражения наиболее «ясные», то есть наиболее простые, несомненно, имеют более всего шансов быть неверно понятыми, поскольку они действуют как прожективные тесты, в которые каждый привносит свои предрассудки, свои врожденные идеи, свои фантазмы. Если принять: чтобы быть понятным, нужно работать над употреблением слов таким образом, чтобы они не выражали ничего кроме того, что хотели сказать, то можно видеть, что наилучший способ говорить ясно — это говорить сложно, чтобы попытаться передать сразу то, о чем говорят, и отношение, которое поддерживают с тем, о чем говорят, и избегать говорить невольно больше и отличное оттого, о чем были намерены говорить.

Социология — наука эзотерическая: приобщение к ней очень длительно и требует настоящего пересмотра всего видения мира, но она производит впечатление экзотерической. Некоторые, особенно среди людей моего поколения, были воскормлены на пренебрежении, поддерживаемом философией, ко всему, что касается социальных наук; они читают социологические работы так, как читали бы свой политический еженедельник. И вдохновляются они на это теми, кто продает свой плохой журнализм под именем социологии. Вот почему самое трудное — это добиться от читателя, чтобы он занял верную позицию, какую немедленно был бы вынужден занять, если бы оказался в ситуации прозрения — перед статистической таблицей, которую нужно интерпретировать, или перед ситуацией, которую нужно описать — поскольку обычная позиция, которую он прикладывает к анализу, построенному вопреки ей, приводит его к совершению всяческих ошибок. Научные отчеты экономят чьи-то грубые просчеты. Другая трудность: в случае социальных наук исследователь должен считаться с выска-

званиями неверными с научной точки зрения, но социологически настолько сильными, поскольку многие люди испытывают потребность верить в то, что эти высказывания правильные, что невозможно их игнорировать, если мы хотим успешно защищать правду (я имею в виду, например, все те спонтанные представления о культуре, врожденном даровании, таланте, гении, Эйнштейне и т.п., которые распространяются образованными людьми). Это приводит иногда к тому, что приходится принимать полемический или иронический тон, необходимый, чтобы пробудить читателя от его доксихического сна...

Но это еще не все. Я не устаю напоминать, приводя знаменитое название работы Шопенгауэра, что социальный мир есть также «представление и воля». Представление в психологическом смысле, но еще и в театральном, в политическом, то есть как делегирование, как группа уполномоченных представителей кого-либо. То, что мы рассматриваем, как социальную реальность, есть по большей части представление или продукт представления во всех смыслах этого термина. А социологический дискурс входит в первую очередь в эту игру, и с той особой силой, которую ему придает его научный авторитет. Когда речь идет о социальном мире, то говорить авторитетно значит делать: если, например, я авторитетно заявляю, что социальные классы существуют, я в значительной степени способствую тому, чтобы они существовали. И даже, если я довольствуюсь тем, чтобы предложить теоретическое описание социального пространства и его наиболее адекватного деления (как это сделано в «Различении»), я тем самым вызываю в действительности породить на свет сначала в головах агентов, в форме категорий восприятия и принципов видения и деления — логические классы, которые я сконструировал для обоснования распределения на практике. И это тем сильнее, что такое представление — и это ни для кого не секрет — послужило базой для новых социально-профессиональных категорий, выделяемых Национальным институтом статистических исследований и экономики (INSEE), и, таким образом, нашло подтверждение и гарантию со стороны государства... Не исключено, что некоторые из моих классификационных терминов когда-нибудь будут фигурировать в удостоверении личности... Все это сделано, как Вы понимаете, не для того чтобы отбить желание реалистически и объективистски читать социологические работы, которые тем сильнее подвержены такой угрозе, чем более «реалистичны» и чем лучше их членение, в соответствии с платоновской метафорой, воспроизводит сочленения реальности. Следовательно, слова социолога способствуют производству социального. Социальный мир все более и более населяется реифицированной социологией. Социологи будущего (но это относится уже и к нам) все больше будут открывать в изучаемой ими действительности осадочные продукты от работ своих предшественников.

Понятно, что социолог заинтересован в том, чтобы взвешивать свои слова. Но это еще не все. Социальный мир есть место борьбы за слова, которые обязаны своим весом — подчас своим насилием — факту, что слова в значительной мере делают вещи, и что изменить слова и, более обобщенно, представления (например, художественные представления Мане) значит уже изменить вещи. Политика — это, в основном, дело слов. Вот почему бой за научное познание действительности должен почти всегда начинаться с борьбы против слов. Таким образом, очень часто для передачи знаний нужно прибегать к тем самым словам, которые нужно уничтожить, чтобы завоевать и построить это знание: можно видеть, что кавычки мало что значат, когда речь идет о том, чтобы отметить подобное изменение эпистемологического статуса.

Социолог может попытаться войти в эту игру и иметь последнее слово в словесной схватке, говоря, чему соответствуют вещи в реальности. Если, как я это предполагаю, на долю социолога и выпадает собственно описание логики борьбы по поводу слов, то понятно, что у него будут и проблемы со словами, которые он должен использовать, чтобы говорить об этой борьбе.

— В книге «*Ответы...*»² Вы показали ограниченность экономизма: если раньше

² Bourdieu P. (avec Wacquant Loic J.D.) Reponses. Paris: Seuil, 1992.

когда кто-то говорил о самоуправлении, то хотел поменять правила игры, то теперь, если кто-то говорит об управлении, его считают отсталым от жизни...

— Я думаю, что экономизм, который встречается как у левых (в марксистской традиции), так и у правых, приводит к тому, что экономическая реальность подвергается настоящему увечью. Он стремится абстрагировать из любого даже самого основополагающего измерения одни только затраты и прибыли. За неимением возможности показать в полном виде и чтобы побыстрее добраться до главного, я скажу, что за последствия политики, понимаемой как управление экономическими равновесиями (в узком смысле этого термина), мы расплачиваемся тысячей способов: социальными и психологическими затратами; безработицей, болезнями, правонарушениями, алкоголизмом, наркоманией, страданиями, которые приводят к озлобленности и расизму, политической деморализации и т.д. Настоящая всеохватывающая бухгалтерия социальных затрат и прибылей могла бы показать, что социология предлагает экономику ничуть не менее строгую и соответствующую сложности окружающей реальности, чем та, что предлагается частичной экономикой собственно управления; и что логика верно понятых интересов предполагает разрыв не только с либеральной вседозволенностью, но и с детерминизмом натурализованных социальных законов. Нужно заново утвердить роль Государства и потребовать от него, чтобы в своей борьбе против обеих форм подчинения необходимости экономических законов, которые вытекают из двух этих форм экономизма, оно вооружилось знаниями демографических, экономических и культурных законов и постоянно корректировало последствия их действия при помощи политики, использующей все имеющиеся средства (юридические, налоговые, финансовые и проч.). Правосудие (этическое и политическое) и правильность (техническая) все менее и менее становятся антитетическими, реже, чем можно было бы предположить, исходя из ближнего расчета узкоэкономических прибылей и потерь. Не собираясь рассуждать об «упадке Государства», необходимо все же потребовать от него осуществления регулирующей деятельности, способной противостоять «неотвратимости» экономических и социальных механизмов, имманентных социальному порядку.

— Мы видим здесь, что Ваша социология имеет политическое значение... Вас часто упрекают в заумности, поскольку не очень-то понимают, чему конкретно может служить Ваша формула «помочь освободиться»...

— Я считаю, что упрек, который часто делают социологии (и мне, в частности), в распространении фатализма или пессимизма, основан на полном искажении смысла (несомненно, бессознательном, что не означает невинном) статуса социальной науки и закономерностей или законов, которые она стремится установить. Нужно ли напоминать о том, что социальные законы — это не природные законы, которые от века и навечно вписаны в природу вещей, о том, что научные законы не носят предписательного характера, не являются непререкаемыми правилами поведения, а только эмпирически установленными и подтвержденными закономерностями? И что, как следствие, эти закономерности (статистические) нисколько не навязываются как императив или судьба, которой необходимо подчиниться? Социальные закономерности выступают как вероятностные последовательности, которые нельзя побороть, если появилась такая нужда, иначе, как только через их познание.

Если я решил здесь напомнить вам такие простейшие истины, то лишь потому, что некоторые из моих критиков находятся на таком уровне непонимания (некомпетентности), а еще обскурантизма, что я вынужден вернуться к основам основ философии науки...

— Считаете ли Вы, что социология может участвовать в обновлении политики? Верите ли Вы, что она может внести свой вклад в обоснование или вооружение критической контрвласти интеллектуалов, о которой Вы часто говорили как об одном из Ваших желаний?

— Знание социального мира, которое дает социология, без всякого сомнения, одно из самых необходимых условий, критического и действительно ответственного мышле-

ния. Я упомянул о необходимости порвать с экономизмом и продвигать регулирующую деятельность, учитывая все составные элементы экономики, с тем, чтобы она служила счастью, а не только росту продуктивности, рентабельности и конкурентоспособности. Но я думаю, что такая экономика, в которой заметное место уделяется символическому, может быть конкретно постигнута (с пониманием средств и целей), только при наличии умения устанавливать новые формы делегирования и представления.

Кризис представительства, лежащий в основе дискредитации политики, находит свое начало в организационной логике профсоюзов и массовых партий, и особенно, в социальной технологии, изобретенной в XIX веке, с целью обеспечения коммуникации между базой и руководителями и для того чтобы действительно гарантировать воспроизводство аппарата и его руководителей, их программ, платформ, резолюций, съездов, мандатов. Резкая критика существующих форм циркуляции информации и проработка «коллективных волей» должна дать возможность выйти из демобилизующего разочарования и направиться к новым формам мобилизации и рефлексии. Парадоксально, но политический аппарат, который понимался как инструмент либерализации — индивидуальной и коллективной — очень часто функционирует как инструмент доминирования, действуя главным образом через символическое насилие в своих рядах. Вот почему приоритет приоритетов, с моей точки зрения, — усилить критическое осознание механизмов символического насилия, действующих в политике и через политику; для этого нужно широко распространить символическое оружие, способное обеспечить всем гражданам средства самозащиты от символического насилия, а при необходимости средства освобождения от своих «освободителей».

Перевод с французского Н.А. ШМАТКО